

## ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Я не раз разглядывал фотографии из своего раннего детства. Их немного. Вот на карточке мои молодые родители: отец в редко надеваемом костюме с широкими плечами по моде шестидесятых, тщательно зачесанные набок начинающие редеть волосы; мама, еще молодая и привлекательная, в праздничном платье из тонкого шелка. Запомнилось странно звучащее название этой красивой ткани — «креп-жоржет».

Посредине моя сестра и я. Сестре примерно три года, значит, мне нет и года. Этот снимок из фотоателье: лица застывшие, чуть напряженные от команды: «Внимание! Снимаю!».

Еще снимок сестры, отретушированный и раскрашенный, с двумя заплетенными косицами и куклой Светланой на руках. Тоже позирует, как попросили.

Мой снимок: круглое младенческое лицо, круглые удивленные глаза, короткий чубчик, в цветную полоску (наверное, тоже раскрашенная) кофточка. Но это снимки. А что помнится из жизни самое первое?

### САМОСУД

Помню детский сад, куда меня водила за руку мама: примерно два километра своим ходом. Мимо проезжали грузовики. Легковых тогда еще, примерно с полвека назад, почти и не было. Да и откуда им было взяться? Все жили одинаково бедно, думаю, и не догадываясь об этом. Идти с ребенком тяжело, времени, как всегда, мало, и мама голосовала. Иногда машины тормозили, дверь кабины открывалась, и нас подвозили, если «по пути». Мама благодарила, неизменно называя всех шоферов, несмотря на возраст, «папашами». А может, они и были «папашами» для молодой тогда мамы?

Помню младшую группу, куда меня определили по малолетству. Помню воспитательницу Галину Алексеевну и себя, обмочившегося во время *мертвого часа*. Мои трусы по приказу воспитательницы отнесены няней на просушку. *Мертвый час* окончен. Дети интересуются, почему не встаю, одеваются, бегают. А я голый один лежу на мокрой простыне. Воспитательница, выдерживая паузу, кривя накрашенные губы, посылает детей за трусами. Помню *воспитательную* минутку в детском «концлагере». Я стою посреди группы голый и мокрый, вокруг меня ходят хороводом дети и дружно (видно не в первый раз) скандируют «Самосуд! Самосуд!» Эти слова заставляют повторять и меня. *На моей голове — обоссанные трусы.*

Трудно сказать, что сохранила травмированная детская память, а на какие детали мне указала сестра. Будучи в старшей группе, она каким-то образом стала свидетелем этого показательного воспитательного мероприятия.

*И то верно. Преисполненные административного восторга благодетели наши верят искренно и истово: все, что они ни делают, — в наших же собственных интересах.*

## ПЕТУХ И МАЛЬЧИК

На дворе зима. Мы живем в двухэтажном бараке, что в городской слободке. Я, одетый по-зимнему, выхожу на крыльцо. На мне черная цигейковая шапочка, переваченная вкруговую от подбородка до темечка узкой белой резинкой. Вдруг ко мне на голову вспрыгивает огромный (а кто не огромный, если тебе от трех до пяти?) петух и клюет в то самое, прикрытое черной шапкой, темя. Я падаю на крыльцо и в ужасе ору... На сей раз моя жизнь была спасена. Спасибо черной шапке.

Случай-то, думаю, пустячный, но моя двоюродная сестра Яна всерьез утверждает, что, после того как меня в темя клонул петух, в моих глазах каким-то образом обозначилась несвойственная слободскому мальчишке мечтательность и любовь к произнесению малопонятных, а подчас совсем мудреных слов типа «электрификация» или «антропос».

*Ну, да ведь и вправду не знаешь, когда и где петух тебя клюнет в темя.*

## ТРИ ЗАВЕТНЫХ СЛОВА

Зима благополучно завершена. Все во дворе. Я со всеми. На крыльце стараюсь не задерживаться. Ко мне наклоняется мой защитник и старший тезка, поклонник двоюродной сестры и двоечник, немножко хулиган, а в совокупности характеристик — хороший парень. Шепчет: «*Скажи х..., п..., б...*». Я старательно и громко повторяю. Уроки не прошли даром — я до сих пор знаю, куда посылать тех, кого петух не клевал...

*Вот такое оно — дворовое просвещение.*

## ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Детский сад, куда вместе со мной и сестрой перешла из школы работать мама, я посещал недолго. Что было причиной тому — то ли унаследованный от отца буйный нрав, то ли врожденная тяга к отклоняющемуся поведению — сказать не берусь.

Чашу терпения коллектива дошкольных педагогов переполнил последний из ряда вон поступок. Вместо того чтобы вместе со всеми разумно и правильно есть гороховый суп (сейчас я его ем с удовольствием, а тогда он казался чем-то желто-зеленым до неприличия), я, размахнувшись, запускаю капроновую игрушку в тарелку сидящего за соседним столом хорошего мальчика.

Как представляющего угрозу для здорового дошкольного коллектива, меня переводят в другой (подальше от родной мамочки) детский сад. Представление о переводе и прочая самым решительным образом было положено на стол заведующей все той же Галиной Алексеевной со змеисто-красными губами.

*И то верно: если враг не сдастся, его переводят в другой детский сад!*

## ОДИН В ПОДЛОДКЕ

Мы играем во дворе — ребята постарше и я, самый маленький. Уже вечер. В глубине двора чья-то переполненная лодка, подпертая с одного края обломком доски. В образовавшуюся щель можно пролезть. Мы сидим под лодкой тихо. Нас никто не видит. Темнеет. Старшие по очереди выползают наружу. Я, готовый следовать за ними, вдруг погружаюсь в темноту — подпорка убрана, оба края лодки плотно прижаты к земле. Юные пионеры, всегда и ко всему готовые, разбежались по домам. Я остаюсь в крошечной темноте. Под лодкой. Один.

Трудно сказать, сколько времени я провел в этой *подлодке*. Почему-то было стыдно звать кого-то на помощь. Замерев и сжав плечи, я ждал, что эта помощь придет сама...

И действительно, через некоторое время я услышал голоса: «Саша!», «Саша!». То были отец и сестра. Я как-то по-собачьи, указывая направление поиска, заскулил и был извлечен из-под лодки.

Потом отец ходил жаловаться к родителям и главного обидчика Дзюни — здорового двоечника, излюбленным развлечением которого было, поймав очередную жертву, свалить ее на землю и, придавив голову широким мужицким задом, душить газами, как душит хорек зазевавшуюся курицу. И Лаврищева, с молчаливого согласия которого малолетний, но вполне себе сложившийся садист обижал тех, кто послабей. Мы не раз всем двором собирались устроить «темную» нашему тирану и даже в один прекрасный момент предприняли отчаянную попытку. Но, свалив его с ног, как-то растерялись, замешкались. Зато он, было испугавшись, не мешкая, безжалостно уничтожил ростки оппозиции в зародыше. К третьему, Беликову, отец уже не пошел, думаю, оттого, что последний, по выражению моей любимой учительницы, сам был «пыльным мешком из-за угла трахнутый».

*Конечно, права на восстание широких народных масс никто не отменял, но, как сказал поэт, «настоящих буйных мало». Да и откуда им взяться? Оппозицию у нас никто не любит.*

## ХОД СВИНЬЕЙ

Двор дома с прячущейся среди тополей перевернутой лодкой, с развевающимися на ветру, словно вымпелы морских кораблей, цветными полотнищами вывешенного на просушку белья, ветхим рядом сараев для хранения угля, дров и прочего хозяйственного хлама венчал дощатый и щелястый сортир.

Неподалеку от этой обеспечивающей простое биологическое выживание организмов дворовой постройки, заслуживающей отдельного похвального слова, — добротный, под зиму сработанный сарай из бруса. Он был построен объединенными усилиями моего отца и соседа дяди Тимы, жившего с нами *дверь в дверь* со своей женой тетей Фимой. Внутри сарай был разделен надвое перегородкой: отец, хозяйственный и непьющий, и дядя Тима, как положено доброму соседу, работающий и пьющий, держали свиней. Каждый свою. А в лучшие времена для приплоду — по две: чушку и кабана. Вот об этой-то, проживающей за перегородкой частным порядком свинье и пойдет речь.

В повседневности трудовых будней отец, уходя на работу, поручал сестре кормить свинью. Свинья неизменно приветствовала свою кормилицу мощным *арпеджио*. Галя твердо знала, что ее, слободскую девчонку, сие отнюдь не украшает и всячески старалась скрыть от живущих на соседних улицах одноклассников сам факт столь трогательной привязанности.

Свинья же на этот счет держалась других мыслей. Как-то, привычно откинув запор, Галя в очередной раз появилась в сарае с ведром густо замешанных отрубей. Давно мечтавшую о свободе хрюшку, глядящую сквозь узкие, с красными радужками и белесыми ресницами щелочки на свою маленькую хозяйку, неожиданно осенило: «Сейчас или никогда!» И вот, забыв все сделанное для нее добро, вместо привычной трапезы, она, сметая все что ни есть с пути своего, неудержимо устремилась к зияющему проему двери...

Яркий день и напоенный весенней свежестью воздух не на шутку растревожили и без того некрепкую на голову хавронью. Быстрые ноги неудержимо понесли грузное тело к оврагу с его стремительными водами. Боясь упустить из виду свою подопечную, Галя, уже исчезая в облаке поднятой свиньей пыли, только и успела крикнуть: «Яна, свинья сбежала!»

Вместе с Яной, вслед за возглавившей гонку преследования Галей, бросились и выдавшие виды дворовые пацаны. Достигнув береговой линии оврага, животное резко свернуло — впереди разворачивалась широкая перспектива улицы Большой. Видимо, там она и намеревалась ощутить вкус этого сладкого (слаще ведра круто замешанных отрубей) слова «свобода». Но вдохнув полной грудью отравленного ядами свободы воздуха Большой,

ушлое животное утратило бдительность и оказалось в железном кольце погони... Свободолюбивая свинья была благополучно водворена к месту своего постоянного проживания.

Происшедшее ли произвело свое скрытое действие, соседский ли боров не на шутку постарался, но по прошествии четырех месяцев хавронья опоросилась. Отец, зная уже теперь ее легкомысленный нрав, ночевал в сарае и принял поросят в собственные руки. Их оказалось пятнадцать (!) Последний, то ли ему не хватило мамкиной титьки, то ли недополучил чего другого, рос плохо и к трем месяцам ни росту, ни весу не набрал. Выдавала его только не в меру отросшая щетина. Дядя Тима, вооружившись позаимствованными у тети Фимы портновскими ножницами, в отсутствии отца ловко остриг замухрышку и затем удачно его кому-то продал, выдав за месячного. Все в итоге и завершилось к всеобщему благу.

*Вот ведь свинья, а тоже творение божие...*

## ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

В первый раз я влюбился в старшей группе детского сада. Девочку звали Оля. Светловолосая, стриженная (тогда еще девочки по преимуществу были с косами), с чубчиком. Мы с ней в силу моей стеснительности и общались-то не очень. Но, видимо, женская интуиция что-то ей подсказывала. Однажды, ловя взгляды моего молчаливого обожания, она подошла ко мне совсем близко: «А мы завтра уезжаем». В смятии чувств я не нашел лучшего ответа: «Ну и что?»

Потом уже в первом классе я был влюблен в девочку из танцевального кружка. Думаю, что и ходил-то я туда лишь ради нее. Помню, с каким сладким и томительным чувством я, переиначивая слова знаменитого хита Иосифа Кобзона, про себя бесконечно повторял: «А у нас в танцевальном есть девчонка одна...» Увы, все слова и признания так и остались не произнесенными. До сих пор помню *тот* ее адрес: *Зеленая, 2* да танцевальную фигуру, что успел разучить: *обертас с подыграсом* (а может, чем черт не шутит, и *подыграс с обертасом*).

*Повзрослев и, возможно, поумнев, я понял, что причиной несчастной любви и прочих страданий чаще всего оказывается малодушная трусость мужчин.*

Детские любви — главные воспитатели наших чувств. Они подобны эпидемиям. Так, к концу первого класса нас накрыла любовь к красивой (и что-то там еще) однокласснице Гале Мелеховой. Мы — мальчики I «А» или «Б» — даже составили какое-то коллективное признание в любви, упомянув и других девочек класса. В виду же имели только *ее*.

Но, как известно, в таких делах коллективные действия ни к чему хорошему не приводят. В самый разгар любовных страстей, путем взаимной переписки, некая группа будущих радетелей за светлое будущее, заикаясь и предвкушая, вдруг сообщила, что меня любит... Было названо имя никем не замечаемой девочки, с рыжеватыми косичками и близорукими под толстыми оптическими стеклами в коричневой оправе глазами. Кажется, ее звали Валя. Самая тихая и безропотная среди других. Но как снизойти до какой-то Золушки, если рядом принцесса?.. Годы спустя я с досадой не раз вспоминал, как, приблизившись к ней под взглядами маленьких доносителей и глядя в ее доверчивые глаза, несколько раз толкнул ее — *знай, мол, свое место*.

*И маленький человек может совершать большие подлости.*

Не так давно мне выпал редкий (почти чудо!) случай как-то исправить происшедшее много лет назад. В какой-то аптечной очереди вдруг слышу: «Вы учились в такой-то школе?» Те же рыжеватые, но уже с проседью, волосы, те же (или почти те же) очки. Правда, глаза уже не беспомощные. И на ногах стоит крепко. Жизнь научила. Я как-то бестолково и смутно пытался сказать, что до сих пор помню и сожалею... Не знаю, поняла ли она мою странную речь.

*Но если счет, который я сам себе предъявляю, все же существует, то после той встречи он, думаю, стал короче на один пункт.*

## СКАЖИ, КТО ТВОЙ ДРУГ?

В начале шестидесятых началось великое переселение народов: из ветхого барачно-коммунального жилья простой советский человек массово переселялся (спасибо Никите Хрущеву) в железобетонные коробки с индивидуальным теплым сортиром, с ним же совмещенной девственно-белой ванной и прочим сантехническим раем. Мои родители с радостью и некоторым даже испугом от свалившегося счастья покинули двухэтажный барак-сарай, живописно расположившийся близ оврага, где летом слободские стоки *вольно и плавно несли полные воды свои*, а зимой местные пацаны гоняли пустую жестяную банку. И мы с сестрой с некоторой, как выяснилось позже, ностальгической, грустью (потом еще долгие годы мне являлись во снах образы моего барачного детства) готовились к встрече с чем-то новым и неизведанным.

Новое и неизведанное оказалось совсем рядом, за дверями школы Первого микрорайона, куда я пришел уже выдавшим виды второклассником. Но откуда же мне, еще неискушенному в сложной социальной иерархии моей новой жизни, было знать, что старший брат клетчато-пиджачного мальчика, к которому я по неведению не проявил должной почтительности, уже *отсидел, вышел* и опять *сел*, что автоматически делало этого клетчатого Женю лицом неприкосновенным.

Следует признать, кто-то меня все же предупредил: «После уроков будут ждать». Будут ли при этом бить? — я спросить постеснялся. По окончании уроков я долго стоял в фойе школы, не решаясь выйти. Во дворе меня ждали мои новые товарищи. Бить, нужно отдать должное, не били. Но толкали. И я то ли *искал пятый угол*, то ли *был третьим лишним*. Конечно, «врагами» были все, но, как мне тогда казалось, особенно усердствовал черноголовый пацан с раскосыми азиатскими глазами. Может быть, он и не усердствовал больше других, а всему виной эти раскосые глаза и его какая-то синяя с чем-то там вельветовая курточка?

Так продолжалось несколько дней, пока родители не обнаружили на моей одежде следы этих ежевечерних внеклассных мероприятий. И вот к началу первого урока весь класс построен для проведения следственного эксперимента. Рядом с учителем стоит моя матушка.

Мне, с учетом воспитательного момента и в лучших традициях советского коллективизма, предложено (скорее, предписано) указать обидчиков, что, конечно же, никак не соответствовало понятиям дворовой чести. Поэтому я молчал, как коммунист на допросе. Но в первом ряду стоял тот раскосо-черноголовый в курточке — и это решило исход дела. Я указал на него. Вовка Душкин оказался крайним. Через несколько дней я привел его в наш дом. Он был моим лучшим другом все оставшиеся школьные годы. Таковым, надеюсь, остается и сейчас.

*Прав был Господь, говоря: ищи друзей своих среди врагов своих!*

## А ВАШ САША УТОНУЛ

Затон — примерно там, где заканчивается Уссури перед впадением в Амур — главное место нашего летнего отдыха на протяжении многих лет. Перейдя трамвайную линию, Краснореченское шоссе, оглябая какие-то заборы и немногочисленные строения, мы оказывались на территории Ремонтно-эксплуатационной базы флота или попросту рэбфлота (о смысле этого аббревиатурного сокращения мы никогда, как и многих других, не задумывались). Такой путь в составе дворовой команды я проделывал бесчисленное множество раз, пока волею судеб (к тому времени уже был окончен институт) мы не поменяли место жительства.

Один из таких походов в Затон запомнился на всю жизнь. Лето. Жара. Близнецы братья Горшенины, Сашка Сафронов по кличке Орангутан, Сашка Максимов (Максим), совершивший первую *ходку* еще *по малолетке*, впоследствии — профессиональный

квартирный вор, так и сгинувший где-то в непроглядной лагерной тьме, кто-то еще из мальчишек нашего двора и я.

Мы до цыплячьего озноба плескались в воде, грелись до точки плавления в перегретом песке и опять с наслаждением заныривали в сокровенную прохладу реки. В какой-то странной оптике я вдруг разглядел на берегу свою мать: ее лицо, с остановившимся взглядом и какую-то пугающую одержимость во всем ее облике... В ее руках были мои (!) штаны и рубаха... И лишь после того, как ее глаза выделили меня из общей массы, они приобрели более естественное и знакомое выражение.

Что же произошло? Да ничего особенного. Просто кто-то из мальчишек *похорошему* пошутил. Судите сами: звонок. Дверь открывает мать. Соседский мальчик со словами: «Возьмите, а ваш Саша утонул» протягивает ей мою одежду. Не берусь оценивать, насколько шутка удалась. Видимо, что-то с чувством юмора... Помнила ли моя *еврейская мама* как проделала путь от порога дома до берега реки, держа в руках одежду *утонувшего сына*?

*После этого я два раза уже по-настоящему тонул. Но жив, как видите. Не судьба!...*

## ЛАГЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Летние смены в пионерском лагере — обычное дело для тогдашних моих сверстников от десяти до пятнадцати. Первые свои лагерные сроки я отчаянно тосковал. И если бы не сестра, то точно бы сбежал. Галя была не только старше, но смелее, и даже дерзкая.

А я, что называется, мамин сын, правда, подверженный по обстоятельствам приступам неуправляемого гнева, которого боялись даже пацаны постарше. В ярости (реакция самосохранения малого да слабого) я мог запустить обломком кирпича в голову обидчика. Сестра была боевая, запросто могла дать сдачи любому пацану. Ее боялись во дворе и, обижая меня, следили, не вышла ли она гулять.

Играя с мальчишками старой жестяной банкой в хоккей на замерзшем льду оврага, она укладывала меня поперек ворот в качестве то ли защитного мешка, то ли бревна. Я часто приходил к ней в корпус, что как-то скрашивало беспросветную лагерную тоску.

Но вот пришло время, когда я сам, став чуть постарше, заказывал родителям очередную лагерную смену. Ведь там уже были друзья и, что особенно привлекало, девочки того возраста, когда сами, еще не подозревая, превращаются в девушек. Знаки этого превращения волновали особенно...

И вот меня, взволнованно-заинтересованного, начинают выгонять из лагеря. Что-то там поведение, непослушание и т. п. Я взываю о снисхождении, и меня ведут к начальнице лагеря, которую пионеры окрестили Гитлером. И вот оно — мудрое соломоново (и не меньше) решение — оставить с испытательным сроком. На время испытательного срока спать мне, четырнадцатилетнему, пятнадцатилетнему (еще не муж, но и не мамин сын), в младшем (!) отряде, то есть с детьми младшего школьного возраста. В этом странном пространственно-временном континууме в кровати-маломерке я пребывал три, если не более, дня. Видимо, я должен благодарить судьбу за то, что на мои девiantiные наклонности вовремя обратила внимание лагерная администрация. И не только их пресекла, а *простки-напротки* выжгла каленым железом (не здесь ли истоки моей иррациональной ненависти к любой бюрократической процедуре?).

Не хотелось бы завершать свои лагерные истории похвальным словом лагерному начальству. Лагерная тема не столь однозначна.

По выходным за воротами лагеря начинали появляться родители с сумками в руках. В этих сумках вся суть: домашние пирожки, конфеты, ситро и что-то там еще... В этот день с утра на небе были тучи. Уже не раз от ворот прибежал дежурный пионер с криком: «Такой-то, приехали!» И только я все ждал и ждал. Начался дождь, перешедший в какой-то обвал, предвещающий второй всемирный потоп. И я перестал

ждать. Хотелось завывать и даже залапать на эти тучи, на этот дождь и вообще на все. Неожиданно в яростных раскатах грома и блеске молнии прорезался голос доблестного пионера: «К Брейтману приехали!» У ворот стояла мама. До нитки промокшая, измученная дождем, жуткой дорогой и... с сумкой в руках.

*Каждый человек желает знать, что его любят. Просто так любят. Ни за что.*

## «ФРАНЦУЗ» И КРУТОНОГ

Борис Самойлович Крутоног — школьный трудовик. Он умел многое: работать молотком и напильником, отверткой и ножовкой по металлу, чинить моторы и электропроводку, собирать авиамodelи и картинги. А еще он был выдающимся педагогом.

Однажды на урок труда в седьмом или восьмом классе, что проходил в слесарной мастерской, пришла вездесущая Марьяковлевна, директор школы. Она в целях внешнего контроля учебного процесса пробыла не более пятнадцати минут лишь на теоретической части, которая почти импровизационно возникла только в связи с присутствием директора (те, кто не отличался особым пристрастием к железякам и рукастостью, пилили и ошкуривали драчевым напильником вечную металлическую болванку). По окончании теоретической части Марьяковлевна (директор должен знать все!) задала лишь один вопрос: «Вот тут Борис Самойлович говорил *биметаллы*. А что это такое, почему *би*, а не *ди*, например?» Впервые прозвучавший в этих стенах вопрос такой сложности повис в изумленном молчании.

Ответа не знал и сам Борис Самойлович.

Ну, это пример, что называется, из ряда вон. А вообще Борис Самойлович — шутник и балагур. Так во время очередного своего довольно путаного объяснения темы, он, желая выпутаться, *перевел стрелки на меня*: «А ты, *француз*, чего не пишешь?» В обстановке неявного, но регулярного госантисемитизма, это было вполне себе шуткой.

Но я-то вам не какая-нибудь там Спиноза, чтобы эдакие шутки терпеть, возьми да и скажи: «Такой же, Борис Самойлович, француз, как и вы». Шутки шутками, но, как-то даже и нешуточно выкручивая ворот моей рубахи и придавая все более ускорения, Борис Самойлович повлек меня в директорский кабинет. Подозреваю, его мучил вопрос: так кто же из нас двоих *француз*? За отсутствием Марьяковлевны мы оказались в кабинете завуча — настоящего филолога и умницы. Что тут сделалось с *крутоногим* шутником и балагуром! Со стороны могло показаться, что человека неожиданно настиг эпилептический припадок. Его трясло и ломало от *этой небывалой наглости ученика, которую он терпеть больше не намерен*.

Завуч, напротив, терпеливо (в ее голосе слышались интонации любимых персонажей русской литературы) успокоила непонятого в своих лучших побуждениях педагога. Потом уже в разговоре с нанесшей в школу очередной визит матушкой она поведала о тайне ранимой *французской* души трудовика, более всего озабоченного решением *французского* же вопроса.

*Конечно же, прав был председатель Мао, однажды воскликнув: «Пусть расцветет тысяча цветов!»*

## СПАРТАКОВЦЫ НАШЕГО ДВОРА

Голливудский «Спартак» 1960 года с Кирком Дугласом шел у нас почти десятилетие спустя. Его смотрели все: и хорошие мальчики, ударники и отличники, и завязтые троечники, и, конечно, двоечники и прогульщики, составляющие, как правило, уличную свиту дворовых «королей», уже имевших за плечами, по меньшей мере, собственные сроки на «малолетке».

«Королям» еще предстояло сыграть важную роль в событиях, от которых они поначалу предпочитали держаться подальше. Кто же станет обращать внимание, как

мелюзга начальных классов с деревянными игрушечными (кусок рейки с поперечиной) мечами снует во дворах, оглашая улицы победными воплями и плачем из-за содранных в кровь пальцев и набитых шишек?

Затем к этим потешным боям присоединились пацаны постарше, чья подростковая агрессия искала выхода. Отряды дворовых спартаковцев возглавляли обычно те самые прогульщики-двоечники двумя-тремя годами старше остальных. И здесь сражения уже были нешуточные, двор на двор: и оружие поувесистей, и синяки и ссадины ощутимей. Родители насторожились. Но было поздно.

Дремлющие в каждом индивидуальном мужчине, и большом и малом, инстинкты завоевателя со всей неизбежностью пробудились для осуществления единых коллективных действий. Все чаще в междворовые разборки вовлекались «бойцы» с суровым опытом уличных баталий, и наконец во главе отрядов, объединивших в «полки» целые уже улицы (Космическая, Юности, Калараша), встали, в промежутках между «ходками», те самые «короли», чьи имена (*кликухи*) произносились во дворах со страхом и уважением.

Отдельного упоминания заслуживают «спартаковцы» с Бурейской (их называли бурейские или буря) — улицы барачных старожилов в тесном кольце железобетонных монстров.

Каждый микрорайоновский шкет знал, что к бурейским лучше не забредать — в них бушевала классовая ненависть обитателей трущоб к владельцам теплых сортиров. Хорошо помню их уличные «полки», вооруженные уже не безобидными деревяшками, а длинными по два-три метра шестами, осуществляющие боевой маневр под началом непререкаемых своих сюзеренов.

Были и «битвы», были и раненые, но был и дворовой кодекс: «до первой крови» и «лежачего не бьют». Сегодня, увы, эти уличные конвенции забыты, как забыты и другие, куда более важные принципы.

*Ни я, ни мои друзья не стояли в первых рядах дворовых дружин. Но опыты уличных баталий не разгодились мне в моей не такой уж, увы, ровной и гладкой жизни. Надеюсь, больше не пригодятся.*

## НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ

В промежутке между начальной школой и, как тогда называли, неполным средним я был закоренелый троечник. Мои родители (за что им отдельное спасибо) никогда не требовали отчета по домашнему заданию. Это было очень кстати: сколько себя помню школьником, я никогда его не делал. Никогда не понимал, как решаются алгебраические задачи, чем тангенс отличается от котангенса, не говоря уже о монструозных секансе и косекансе. Я, например, до сих пор уверен, что валентность есть некое химическое соединение, специально созданное в застенках средневековой инквизиции для подноготных пыток.

Троечнику положено быть или олухом, или хулиганом. Я, по мнению педколлектива школы № 71, скорее, был хулиганом. На моем счету были бесконечные урочные «дискуссии» *за справедливость*, заставляющие учителей забывать о педагогическом такте, самовольные оставления уроков, приводы к директору и т. п.

Последней каплей в чаше с ядом оказалось огромное окно актового зала, разбитое мной на пике коллективного возмущения тех, кого не пустили на школьный вечер. То ли я пришел позже назначенного часа, то ли я оказался в окружении местных уркаганов... Короче, нас не пустили, и мы пошли в обход с тыла, к пожарной лестнице. Но и она была предусмотрительно заблокирована. Вот тут-то и раздался клич: «Бей окна!» Кричали все обиженные, но орудием возмездия стал обломок кирпича, конечно же случайно оказавшийся в моей руке. Огромная стеклина с нарастающим треском съехала по стене, а мы, что называется, рвали когти.



На следующее утро я вместе с родителями был любезно приглашен к директору. Какой-то юный пионер таки успел выполнить свой долг перед Родиной: на директорском столе лежал *кирпич — оружие пролетариата*. Видимо, оно должно было стать последним гвоздем в крышку гроба моего неполного среднего.

Директор школы, сухая старика, быстрая и стремительная, как зигзаг молнии, вынесла вердикт — в ПТУ. Мол, получит хорошую рабочую профессию, станет человеком. Может быть, так было бы и хорошо и правильно.

Но моя матушка, видимо, не смогла оценить по достоинству всей педагогической тонкости директорской мысли — в ее глазах появились слезы. В итоге было решено: «Оставить с испытательным сроком. С переводом из “А” в “Б”». Событие, которое было призвано лишь закалить во мне неистребимую девантность, неожиданно круто (что я понял лишь годы спустя) изменило мою дальнейшую жизнь.

Всем лучшим в своей жизни я обязан людям (и книгам, конечно, о чем писал Горький). Правда, не всем, а некоторым. Ну конечно, родители, сестры, тетушки... — отдельная тема. Я имею в виду учителей и наставников. С некоторыми из них впоследствии меня связывали долгие годы дружбы. Первая (хронологически) в этом ряду — учитель литературы, к которой я и попал в результате замены *отчисления переводом*, и которая уже однажды защитила меня от праведного гнева трудовика.

Энергия протеста *за справедливость* на уроках литературы естественно и без натуги преобразовалась в интерес *поговорить за литературу*: что этим, к примеру, хотели сказать Печорин или Раскольников? А что имел в виду автор? Главное же, «что обо всем этом думаю я?».

*За умение сформулировать и возможность выразить то, что «хотел сказать я», по гроб жизни буду благодарен своей, по гамбургскому счету, первой учительнице — Анне Николаевне Масюкевич.*

## ИЗ ПУНКТА «А» В ПУНКТ «Б»

С переводом из «А» в «Б», как я уже успел заметить, началась моя новая жизнь.

Говоря по совести, в 9 «Б» встретили меня *не очень*. Ира Пастухова, похожая на рыжую лису (острый любопытный нос и длинный каштановый «хвост» только усиливал сходство), с вполне себе грудью, сразу о чем-то меня спросила. По простоте нравов, принесенных из «А», я, не чуя подвоха, с готовностью отвечал. И тут же получил радостно припечатанную домашнюю заготовку: «Что с дурака возьмешь, кроме анализа!»

Ну и *как* после этого (привет Дейлу Карнеги) *приобретать друзей?*

Вот *он* мне сразу и не понравился: высокий и худой, с длинными, как бы отвя-занными от туловища руками, да еще с каким-то там мальчишеским чубчиком. Вечно среди девчонок. В общем, куда ни кинь — «ботаник». «Ботаник» Сережа.

Он действительно жил среди «девчонок»: мать, Марта Федоровна, прямая и властная; старшая сестра, Люда, *учителька-филология* (тут без лишних слов все ясно); Лена-двойняшка, училась тоже в «Б». Все ее подружки были, естественно, и «подружками» брата. (Я помню, был и отец: высокий, с прямой спиной и спокойным лицом. Как-то слишком рано он умер). Одним словом, бабье царство. Вот и был он один — желтый сухой подсолнух с длинной кадыкастой шеей и машущими невпопад руками-листьями среди целого поля беленьких и кудрявых ромашек. Но, как известно, *«враги человеку — домашние его» (Матф. 10: 36)*

Каждый, кто умеет шагать *не в общем строю* и *не в ногу*, знает: человека делают не столько обстоятельства, сколько противодействие им. И чем обстоятельства неотвратимее, тем противодействие жестче.

Думаю, Сергей сам захотел сойти с уже начертанной любящей рукой колеи. Кажется, он поступил, как и ожидалось, в юридический, но бросил его и ушел в док

учеником плотника. Оттуда, и совершенно сознательно, — в армию. Видимо, тогда и начал он упрямо вычерчивать свою *мужскую* линию.

Отслужив, вернулся уже опытным и бывалым в док. Заочно — на истфак. А потом удивил всех: стал замполитом в одном из районных отделений милиции. Замполит-силовик (как, впрочем, и армейский его коллега) — номенклатура КПСС, своего рода луч света в суровой череде милицейских будней. Ему было предписано повзводно и поротно доносить до страждущих и жажущих рядового состава партийную догму.

Должность по тем временам архиважная, по негласному убеждению немногословных строевиков была пятым колесом в телеге. *Интеллекту в шляпе* трудно усвоить исчерпывающую универсальность трехчлена *«так точно-есть-никак нет!»*. Место его известно: *сиди, лопух, и не рытайся*. А он рыпался. Да как! В кратчайшие сроки — лучший замполит. Его отдел — первый по наглядной агитации и мероприятиям к датам. Разработки размножаются по краю как образцы... Вот оно заветное поле для взлета! Вот где бы и воспарить! А он, к неудовольствию начальства, жаждет засад и задержаний: вот вам «ботаник» и опер в одном флаконе! Не только жаждет, но и участвует как простой оперативник. И зачем ему грязь, кровь, да еще и с риском для жизни? Но, закусив удила, остановиться трудно. Для оперативной работы требуется специальное образование. На стремительном взлете партийной карьеры старший лейтенант Кирилок (а то и бери выше...) — курсант Высшей школы милиции. И уж затем (правда, не сразу: впереди «лихие» девяностые) — боевой генерал. Слово боевой следует понимать буквально, поэтому не закавычиваю и никак его не выделяю.

Да, карьеру он сделал. Но не в кабинете. А там, где грязь и кровь. И еще немножко стреляют. *Как и кем?* — писать не буду. Он и сейчас большой начальник. Но это там, у них, он — начальник. А для меня, как и прежде, — *Серезжа*. Мосластый и на вид неуклюжий. С плотницкой ухваткой и мальчишеским чубчиком (признаться, то, что осталось, чубчиком может быть названо лишь условно). Интеллигентствующий. Читающий на память бунинское «Одиночество»:

*...Что ж! Камин затоплю, буду пить...  
Хорошо бы собаку купить.*

## РЕЧЬ ФЮЛЕРА НА XXIII СЪЕЗДЕ КПСС

Мы, мой школьный друг Володя (тот самый — в вельветовой курточке — раскосый и черноголовый) и я, снова переступили скучные временные ограничения...

Тогда опять стемнело неожиданно быстро. В пятиэтажках, чьи дворы мы давно и успешно обживали, началось *верное «выключение»* окон — никто не вправе лишать советских граждан их законного права на сон. Неумолимо как *восход, заход и долгота дня* приближалась минута гневного родительского вопрошания: *«Сколько еще можно терпеть эти ваши ночные гуляния?»* И только неясное ощущение чего-то недоговоренного и неисполненного удерживало уже готовое сорваться с языка: «Ну, пока. До завтра...» Неожиданно для себя самого я, вытянувшись во все свои сто шестьдесят пять см, объявил: *«Речь фюлера на XXIII съезде КПСС!»*

В подражание киношному Адольфу, доводящему слушающих его до истерических конвульсий, я выкрикивал бессмысленный набор «немецких» слов, начиная и заканчивая каждый, *на вдохе и выдохе*, период речи услышанным в какой-то советской ленте «про дураков немцев» *«зибен нау»*...

Гулкое, застигнутое врасплох эхо испуганно металось в пустом пространстве двора между двумя железобетонными монолитами. Мой друг, исполняющий на дворежном английском битлов в очередь с *воровским романсом*, перемежал мои обращения к *дойче зольдатен унд официрен* взволнованными и восторженными восклицаниями!

Но не каждому дано *так* чувствовать красоту. В двух пятиэтажках, замыкающих двор, практически симметрично *веерному* «выключению», началось *веерное* «включение»... Мы, жаждающие признания, все же не были готовы к встрече с разбуженным среди ночи простым русским человеком. С детства нас учили быть скромными. Поэтому мы не дожидаясь заслуженных почестей, удалились скромно и с достоинством. Точнее, с достоинством, но поспешно.

Мог ли я тогда предугадать, *как слово наше отзовется*? Мои дворовые опыты имели продолжение: вот уже как плюс-минус тридцать лет я произношу с университетской кафедры речи перед студентами. Правда, они не приходят в такой бурный восторг, как мой школьный друг тем поздним вечером. Но все же слушают и даже приходят снова.

*А все-таки хорошо бы узнать, что подумали тогда о моей первой публичной речи люди, живущие за теми «включенными» окнами?*

P.S. Кстати, сближение в названии той моей «речи» вождя немецких фашистов (искаженное от *фюрер*) и высшего партийно-правительственного органа Советского Союза — Съезда КПСС — не заключало в себе никаких скрытых намеков на далеко идущие аналогии. Да и какие аналогии могли возникнуть в голове семнадцатилетнего молодого человека образца 1971 года? Здесь, скорее, известная юношеская придурковатость и неуправляемое, почти иррациональное, стремление «подразнить гусей».

О каких «гусях» речь? — может спросить любознательный, но наивный молодой читатель. Думаю, что ответ на такое весьма похвальное любопытство он без труда найдет в каком-нибудь любого года издания словаре «Русские фразеологизмы и идиоматические выражения».

## СМЫЧКА ГОРОДА И ДЕРЕВНИ, ИЛИ ПО ПРАВИЛАМ ДВОРОВОЙ ЧЕСТИ

Кто не знает, что такое «ехать на картошку», тот не жил в СССР (интересно, где же он тогда мог быть, когда мы все как один... в едином строю... и прочая?..)

В 1971 году нас, семнадцатилетних учащихся школы № 71 (кто дружит с нумерологией и легко прозревает астральные миры, объясните эту мистическую игру цифр 1 — 7, 7 — 1), послали «на картошку» то ли в Гаровку, то ли в Розенгартовку. Ну, в общем, послали далеко... в помощь труженикам села. Это была такая всесоюзная игра: *хочешь быть румяным и здоровым, собери картошку сам!*

В том, что начало учебного года переносится почти на месяц, не было ничего дурного. Напротив, это нас даже радовало и сулило новые впечатления на свежем воздухе. На свежем воздухе — значит, с пользой для здоровья. А это главное!

Новые впечатления не заставили себя ждать. На второй день по прибытии, когда только еще обживались отведенные «городским» корпуса, прибыли «деревенские» с проверкой нас *на вишивость*, а также *энкопрез* и *энурез*. Проверяющими были два брата — два сельских качка.

Тогда еще, чуть ли не полвека тому, ни о каком бодибилдинге и бодибилдерах речи быть не могло. Просто они были коренастыми, крепкими (как говорила моя матушка: больше в ширину, чем в длину), с рельефной мускулатурой. Поэтому, ничего и никого не боясь, они и пришли только вдвоем. Но нам было кого выставить против.

Наш друг Коля Фоминцев (Фома) давно уже занимался поднятием и переноской тяжестей. К десятому классу он, добрый и не самый скорый на язык, превратился в атлета, а поэтому, несмотря на массивные надбровные дуги и крупный барабулистый нос-шнобель, в красавца-мужчину. Вот этого-то красавца по общему молчаливому согласию мы и «выставили» против давно и слаженно *работающих* в паре деревенских бойцов.

Не будь Коли, не возьмусь судить об исходе этого *визита дружбы*: мы были как-то даже деморализованы плечистостью, рукастостью, а главное, уверенностью братьев...

Не то Коля! Он принял бой. Один. Мы, воспряв духом, могли «замолотить» непрошенных гостей. Но стояли, понимая, что следом придет «деревня» и тогда уже будет «зачистка» по полной. Надо признать, что и один против двух — тоже «не очень»... Но Коля был один против двух — и победил! Братья, не раз и не два сбитые с ног, знакомые с законами улицы, честно признали поражение. После этого, как водится, началось братание. Коля стоял бледный, и у него дрожали руки...

Все оставшееся время мы дружили с *деревенскими уркаганами* — так обозвал их на утренней «разборке» наш физик, начальник лагеря. Вроде бы *героями*, водившими дружбу с *деревенскими уркаганами*, оказались все названные: Брейтман, Душкин, Фоминцев...

*На деле же подлинным героем был только Коля.*

P.S. Коля закончил мед и в турпоездке познакомился со словачкой. Почти сорок лет он живет в Словакии (тогда еще Чехословакии). Он подтвердил свой диплом, стал там хорошим врачом и даже возглавил хирургическое отделение больницы. Уже многие годы ни я, ни мои друзья, увы, ничего не знаем о судьбе нашего друга.

## МОИ НЕШУТОЧНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

С конца шестидесятых мы были страстными поклонниками Beatles. Володя, наделенный всевозможными талантами к музыке, пению и рисованию — гитара-соло; и Толя, по кличке «Гвоздь», — бессменный ударник — выступали в содружестве с другими самодеятельными бит-музыкантами на школьных вечерах.

Я же был страстным поклонником и тех, ливерпульских, и этих, хабаровских, что меня вполне устраивало. Основной репертуар, конечно же, Beatles с коронным исполнением «Кент бабилон», что оказалось в дальнейшем «Can't by me love» («Нельзя купить любовь»).

Длинные прически и брюки клеш — дань нашей любви к знаменитому бит-квартету и хиппи, пробудивших в нас неистребимую тягу к этому сладкому и совсем еще неизвестному слову «свобода». Но это, как говорится, видимая часть айсберга.

Его скрытая часть там, где талант моего друга был признан безоговорочно и всерьез — вечерние, плохо освещенные улицы микрорайона и деревянная беседка во дворе его дома. Облюбованная для вокального самовыражения, она, слегка подсвеченная окнами пятиэтажки, привлекала под покровом темноты тех, с кем родители и учителя настрого запрещали дружить.

Это был колоритный и опасный сброд изгнанных из школы двоечников-переростков, имеющих за плечами, как правило, срок *по малолетке*, а кто уже и вполне сформировавшийся рецидив. И привлекало их не обрусевшее обаяние чудесных жуков-ударников, а совсем иные мотивы. И они там звучали. И еще как звучали! Ну, что-то вроде:

*С детских лет я надолго с родными расстался  
И ушел навсегда к своим зекам-друзьям...*

или

*Там на Невском проспекте у бара  
Мент угрюмо свой пост охранял,  
А на той стороне тротуара  
Там мальчишка с девчонкой стоял...*

Или

*Нас оттуда сорвалось человек восемнадцать,  
По железной дороге шли в пургу-ураган.  
И седая старушка в жажду пить нам давала,  
Головою качая, утирала слезу...*

Откуда мой школьный друг из вполне благополучной советской семьи брал эти песни, вызывая у бывалых его слушателей шумное одобрение? Нередко, когда его голос под блатные гитарные переборы звучал особенно пронзительно, быстрые и вороватые глаза этих битых жизнью и отнюдь не добрых парней наполнялись слезами. (Воровская сентиментальность и даже истеричность — хорошо известный феномен.)

Что ж, брежневская эпоха нашей юности была все еще насквозь *прострочена* недавним гулаговским духом и блатной ностальгией. Подозреваю, что большая часть моих соотечественников, увы, так и не прочитала «Колымских рассказов» Варлаама Шаламова, начисто сдирающих как дурную коросту это заразное обаяние насквозь фальшивой блатной романтики.

Нередко мы становились свидетелями событий и отнюдь не сентиментальных. Беседочные аккорды, далеко разносящиеся по опустевшим улицам, обеспечивали экзотический и подлинно самобытный подбор слушателей. Старые разборки-терки, неоплаченные счета и обиды вдруг подымали мутную волну, выхлестывая в кровавый мордобой и поножовщину.

Нас, дворовых менестрелей (хотя, говоря по совести, менестрелем был лишь Володя; я шел прицепом), никогда не трогали и в разборки не вовлекали. Это были не наши разборки. Ответ на такое «благородство» мог быть лишь один — *поменьше болтать языком*. Тем более в случае чего его могли очень быстро и без наркоза укоротить.

Как и другие нормальные люди, диплом о высшем образовании я получил по окончании института, но *все предыдущие школьно-дошкольные и дворово-«лагерные» опыты — мои главные университеты*.

## ПЕРСТ СУДЬБЫ

Если мальчик из хорошей еврейской семьи не играет на скрипке (чтобы всегда иметь верный кусок хлеба), он идет *во врачи*, на худой конец — *в учителя*. Я имею сказать, что среди моих многочисленных родственников — это примерно пятьдесят на пятьдесят.

Я на скрипке не играл, но читал, много и беспорядочно, а также имел склонность к публичному произнесению речей. Значит — *в учителя*. Но любимая нами тетка, давно и успешно учительствующая, сказала: *«Зачем мальчику эта головная боль за такие деньги? Инженер, вот что нужно для жизни»*. Про школьную головную боль я что-то знал и был согласен, а вот про инженера как-то полной уверенности не было.

Перед тобой жизнь, и кто скажет, как надо? Чей голос должен быть услышан? Твой собственный, неуверенный и запинаящийся, или убедительно-ясный, как у многоумудрой тетки?

Торг казался неуместным. Сменив либерализм длинных волос а` la Beatles (результат многоходовых комбинаций той же тетки) на правильные косые виски выпускника советской школы, я пошел в инженеры. В *железку* (тогдашний ХаБииЖТ, теперь ДВГУПС), сдав физику на «четыре» (?!), алгебру на «три», а сочинение на «два» (!!), я не поступил. Как говорится, Бог шельму метит. Не надо гневить судьбу и уж тем более становиться поперек...

На следующий год, как-то там объехав на кривой козе военкомат, я подал *на учителя*. Правда, и здесь были свои закавыки. *С одной стороны*, мальчики на филфаке — большая редкость. Да и те, что называется, из-за угла пыльным мешком... В школе же, на учительстве, и того хуже.

*С другой стороны* — куда девать «инвалидность» по пятому пункту при наличии негласно установленного госпроцента на зачисление. Превысить — себе же на голову. Такая вот партийная загогулина.

Как-то мне с затаенной нелюбовью бывшего зека к власти поведал по пьянке один знакомый работяга: «Партийная жизнь сурье-е-езная, заду-у-умчивая». Но, как известно, пока *дурень думкою богатеет*, судьба правит свою колею.

В назначенный день был оглашен список поступивших. В числе семи «мальчиков» из ста зачисленных абитуриентов названы были (видимо, результат тяжелого административного компромисса борьбы за чистоту рядов и необходимости) Винников и Брейтман. С присвоением почетных девяносто девятого и сотого мест, мы — Саша Винников с не совсем удобным отчеством Аронович, будущий мэр Биробиджана и губернатор Еврейской автономной области, что само по себе не так уж и мало, и ваш покорный слуга, будущий скромный философствующий профессор, что само по себе не так уж и плохо, — радостно обнаружили себя в прекрасном цветнике, половина которого — деревенские девчонки, принятые по разнарядке местной власти.

Дабы поставить точку и уже не возвращаться в своем повествовании к этому, не скрою, важному, но не главному для меня вопросу, приведу одно недавно по случаю возникшее соображение, само собой как-то сложившееся в несколько стихотворных строк:

*Ах, скажите, скажите скорее,  
Где же, русские, ваши евреи?  
Где их скрипки звучат отныне:  
В Тель-Авиве? Нью-Йорке, Берлине?*

*Где они, в русской школе учившие?  
Где врачи, вас от хворей лечившие?  
Где еврейские мамы и дети? —  
Напишите! Скажите! Ответьте!..*

*Где ж они, что вчера были рядом?  
Или это России не надо?!*

Но тогда, в начале восьмидесятых, такие вопросы и не могли возникнуть. И не только по цензурным соображениям. Скорее оттого, что у нас у всех, несмотря на все закавыки и загогулины советской власти, была одна Родина — Россия, без разделения на «историческую» и «по факту рождения».

